

*Николай Анастасьев*

## О частной жизни в Америке

*Случайные заметки пристрастного наблюдателя*

Я родился в Москве, большую часть жизни прожил в СССР, затем в России, где и избуду свои сроки, но почти все сознательные годы занимался культурой Америки. Никаких открытий не сделал и, при положенных возрасту научных степенях, так и остался, в общем, популяризатором — автором полутора десятков книг и нескольких сотен статей, посвященных в большой своей части литературе и писателям США. Есть среди них тусклые, есть, как хотелось бы верить, занятные, но именно что занятные, не более того. При этом на протяжении и самих штудий, и — в какой-то степени — многочисленных поездок по Америке, иногда непродолжительных, порой затягивавшихся на месяцы, а то и дольше, поездок и остановок, по ходу которых у меня завелось там немало друзей, я, как опять-таки хотелось бы верить, кое-что про эту страну и ее людей понял. А впрочем, нет, вряд ли. Скорее, не понял, скорее, научился задавать более или менее разумные вопросы — и другим, и прежде всего самому себе. Ну, например, или даже не например, а прежде всего: почему при всей любви к этой стране и ее культуре жить бы там я не смог и несколькими предоставлявшимися в этом смысле возможностями не только не воспользовался, но даже и не раздумывал над ними сколько-нибудь всерьез. О нет, всю развернувшуюся у нас ныне антиамериканская кампания ничего, кроме отвращения и брезгливости, не вызывает. В сравнении с ней даже пропаганда 60 — 80-х годов, при всей ее топорности, кажется корректной академической полемикой. Говорю об этом с печальным знанием дела — жил в ту пору и некоторое, к счастью, непродолжительное, время сам в этом котле варился. Тогда существовала и неуклонно, хотя и неявно, увеличивалась трещина в отношении к Америке могучего клана, ну, скажем, журналистов-международников, с одной стороны, и рядовой публики — с другой. Первые с праведным пафосом вещали о тяжелых судьбах трудолюбивого и талантливого американского народа, эксплуатируемого акулами империализма, о поджигателях войны, коих гнусные поползновения сдерживает великий миролюбивый Советский Союз. Никто им, само собой, не верил, да они и сами себе не верили. Но — работа есть работа, ритуал есть ритуал. Нормальные же люди, те, кого «нелегкая судьба журналиста» не забрасывала

---

*Анастасьев Николай Аркадьевич*, доктор филологических наук, профессор, американист, автор книг «Американцы», «Зазеркалье. Книга об Америке и ее литературе», книг о творчестве У.Фолкнера, Э.Хемингуэя, В.Набокова и многочисленных статей об американской и западноевропейских литературах.

который уж раз в Нью-Йорк (Париж, Лондон, Рим и далее по списку), относились тогда к Америке хотя и без пиетета, но дружелюбно и, быть может, с некоторой завистью, которую невольно, и уж точно никак того не выказывая, испытываешь к тому, кто живет лучше тебя. До сих пор, хоть уже пятьдесят пять лет прошло, помню один беглый разговор, случившийся у меня в центре Москвы. Тогда я, недавний выпускник Московского университета, очутился в вышеупомянутом котле, а именно — в Агентстве печати «Новости», еще точнее, в редакции журнала «USSR», распространявшемся нашим посольством в Вашингтоне в обмен на «Америку», распространявшуюся у нас посольством США в Москве. Дело было в конце ноября 1963 года, в Далласе только что застрелили президента Кеннеди, и начальство послало меня на улицы города поговорить с москвичами про эту трагедию. Первая же моя собеседница, женщина лет пятидесяти, представившаяся домохозяйкой, ответила коротко: «Какое несчастье». И на глаза у нее — честное слово — навернулись слезы. В таком же духе, пусть не столь эмоционально, высказывались и другие — женщины и мужчины, интеллигенты и обычные трудяги, молодые и старые, даже один военный согласился поговорить. Честно написанный мною по следам этого доморощенного социологического опроса репортаж напечатан, естественно, не был, старшие товарищи доходчиво объяснили мне, что учреждение у нас пропагандистское, а у пропаганды свои правила. Это я, положим, при всем своем юношеском правдолюбию, и сам понимал, смущало иное: слишком стремительное изменение правил игры, то в одну, то в другую сторону. Всего за год до того в Москву приезжал Роберт Фрост, а из Москвы, старый и больной, полетел в Сочи, где два часа дружески разговаривал с Хрущёвым, и вот уже то, что вчера было нельзя, сегодня стало можно и, более того, желательно. Например, публикация все в том же ежемесячнике «USSR» переводов рассказов Аксёнова и стихов Вознесенского — тогдашних, скажем, «леваков» (нынче-то полюса, как мы знаем, зеркально перевернулись). А завтра произошло возвращение во вчера: Фрост умер, Твардовский, собравшийся было в Америку с ответным визитом, остался дома, Хрущёв сначала разнес выставку молодых художников-авангардистов в Манеже, а затем заодно добил уж и прозаиков (в первую очередь Аксёнова) и поэтов (в первую очередь Вознесенского), и кинорежиссеров, и музыкантов из того же поколения «шестидесятников» на встрече в Кремле. И снова все стало нельзя, в том числе и ретранслировать сочувственные отклики на гибель молодого президента — главы страны-соперника. Такая ветреность мне решительно не понравилась, и из АПН, не прослужив и трех лет, я ушел. Но дело не в этом. Я про другое — про нормальную реакцию нормальных людей.

Сейчас картина изменилась, былые диссонансы между властью и рядовым людом — диссонансы не только вполне естественные, но и необходимые, даже плодотворные, — почти исчезли, прежнего скепсиса по отношению к профессиональным патриотам (уже не советским, а российским) нет, безудержная, на грани, а то и за гранью истерики, агрессия политологов — ангажированных героев телеэкрана — отзывается презрительными кличками, получившими ход на улице — «америкосы», «пиндосы», «лимитрофы», как там еще? Да и не только на улице, увы.

И будут нас долбать америкосы,  
Диктуя нагло свой ковбойский план,  
И будут резать нас фашистские отбросы,  
Собой заполнив мировой экран.

Кто бы поверил, что эти строки, сколь злобные, столь и беспомощные, вышли из-под пера замечательного лирического поэта Юнны Мориц. Увы, это так.

Говорят, антироссийские выпады, действительно изо дня в день повторяющиеся

в западной, в частности, в американской прессе, порождают бытовую русофобию. Не знаю, мне лично с ней сталкиваться не приходилось — ни в университетской, ни в литературной, ни в какой-либо иной знакомой мне среде. Поведение России в Крыму и на востоке Украины либо почти никого не волнует, либо почти никому не нравится. Так оно и мне не нравится. Только какая тут связь с русофобией? А если связи нет, как нет, по-моему, и самой русофобии, а есть только нормальные межгосударственные несогласия, то остается предположить, что наша пропаганда (таковой, впрочем, себя не признающая) куда изощреннее, а может, просто наглее и уж во всяком случае эффективнее американской — в том смысле, что на умы и настроения своих соотечественников она оказывает куда большее воздействие, чем та на своих.

Или пропаганда — продолжаю я задавать вопросы, уже не вполне личного свойства — здесь вообще ни при чем, разве что эхом отдается, а главное — естественное раздражение тем, что сенатор Фулбрайт называл высокомерием силы? Ладно, вы богаче, вы действительно сильнее, но зачем демонстрировать это при любом удобном случае? Учить всех зачем? И уж точно нельзя убивать ни в чем не повинных людей, пусть даже во имя самых высоких идеалов. Возникает защитная реакция, легко порождающая соблазны контрнаступления, тем более что к нему неустанно призывают наши отечественные ястребы — эти птицы ведь не только в Америке водятся.

Или, наконец, «антиамериканизм... питается параноидальным, скрытым ощущением собственной неполноценности, которое стремится найти выход в национальном самоутверждении?»<sup>1</sup>

А может, и то, и другое, и третье, или ни то, ни другое, ни третье, и вообще презренная конъюнктура тут ни при чем, и действуют какие-то иные, потаенные силы, подавить которые в сколь-нибудь протяженной исторической перспективе попросту невозможно?

Послушаем людей просвещенных. Только для начала оговорюсь. «Я не собирался это печатать, — обращается к читателю своих прославленных «Записей и выписок» Михаил Леонович Гаспаров, — полагая, что интересующиеся и так это знают; но мне строго напомнили, что Аристотель сказал: известное известно немногим. Я прошу прощения у этих немногих». Собственно, мне следует повторить те же слова, только добавив к этой оговорке еще одну. Даже две. Во-первых, мне, естественно, и в голову не приходит хоть в отдаленной степени равняться с Гаспаровым: он пребывает на таких высотах мысли и знания, до которых мне слишком далеко. Ну а во-вторых, если то, о чем пишет он, действительно известно немногим (я, повторяю, явно не из этого круга), то в моих заметках не найдут ничего для себя нового как раз многие, хотя, пожалуй, и не все. У этих многих я прошу прощения.

Ну вот, а теперь можно, памятуя о прозвучавших вопросах, заняться выписками.

В мае 1831 года молодой французский адвокат с хорошей родословной Алексис де Токвиль отправился по поручению правительства Луи-Филиппа в США для изучения основ и практики тамошней пенитенциарной системы. Задание было отработано добросовестно, подробный отчет представлен, но сохранился он в лучшем случае в архивах какого-нибудь государственного ведомства, а вот написанная по следам той же поездки книга «Демократия в Америке» сделалась одним из самых ярких событий политической мысли Европы и не утратила всего своего живого значения, всей своей интеллектуальной свежести и поныне. Вот уж это сочинение действительно известно настолько многим, что пересказывать его содержание так же неловко, как пересказывать, допустим, «Государя» или «Левиафана». К тому же занимает меня сейчас лишь один фрагмент, возникающий в финале первого тома.

<sup>1</sup> Пол Холландер. Антиамериканизм. — С.-Пб, 2000. С. 18—19.

Токвиль бегло сопоставляет «две великие нации, которые, стартуя с разных сторон, стремятся как будто к одной и той же цели. Это Америка и Россия. И та и другая поднялись незаметно и в то время, когда внимание человечества было устремлено в ином направлении, неожиданно вышли на авансцену, и мир узнал об их существовании и их величии почти одновременно.

Все иные нации достигли своих естественных пределов, и им остается лишь поддерживать свое положение; но эти две еще пребывают в стадии роста. Все иные остановились либо продолжают продвигаться вперед с огромными трудностями, и лишь эти две непринужденно и стремительно идут по пути, на котором трудно представить себе какие-либо границы. Американец преодолевает препятствия, которые ставит перед ним природа; врагом русского являются люди. Первый бросает вызов пустыне и дикой жизни; последний — цивилизации со всем накопленным ею оружием. Поэтому американец достигает своего с помощью плуга, русский же с помощью меча. Англо-американец полагается в достижении своих целей на личный интерес и дает свободный выход не стесненной силе и здравому смыслу народа; русский сосредотачивает весь авторитет общества в одних руках. Главный инструмент первого — свобода, второго — рабство. Разнятся стартовые площадки, и пути тоже расходятся; но, кажется, сами небеса предназначали обоим народам решать судьбы половины земного шара».

Можно, конечно, обидеться. Ну да, мы и сами все знаем про крепостничество и неволю, но как-то неприятно, когда об этом говорят другие. Можно, далее, уличить автора в некоторых несообразностях: он сам пятнадцатилетним подростком мог видеть на бульварах Парижа русских казаков, так что появление России на мировой арене не должно было показаться ему таких уж внезапным. Можно далее поправить его: как известно, американцы с самого начала колониальных времен действовали не только оралом, но и мечом. А с другой стороны, почему бы не позавидовать исторической проницательности блестящего галла? Ведь и впрямь судьбы земного шара, ну, не решаются, положим, но во многом зависят от того, найдут ли согласие Москва и Вашингтон. И все-таки лучше и обиды, и упреки, и похвалы отодвинуть в сторону и задаться простым вопросом: с чего это европеец, старающийся, в общем, отгадать одну-единственную загадку: почему в его родной Франции революция разрешилась террором и контрреволюцией, а в Америке породила либеральную демократию (к слову, полтора века спустя к тому же парадоксу обратилась Ханна Арендт, заметившая, что в отличие от всех европейских революций американская оказалась успешной), так вот, с чего бы это он вдруг вспомнил о России? Какая тут связь?

И с чего бы это его соотечественник, тоже дворянин, правда, захудалый, Мишель Гийом Жан де Кревкёр, изображая в своих «Письмах американского фермера» Новый Свет сущим раем на земле (даже Джордж Вашингтон нашел, что он несколько идеализирует Америку), передает ненадолго слово некоему «И-ну А-Чу» (то есть, Ивану Алексеевичу то ли Александровичу) — русскому путешественнику, захватившему по ходу своих американских маршрутов на несколько дней в гости к Джону Бертраму — скромному фермеру и вместе с тем видному по тем временам ученому, основателю Ботанического сада в Филадельфии, а также одному из лидеров местной общины квакеров. Хозяин показывал гостю поля, запруды, сад, амбары, пригласил и в «Дом друзей», где тот, «повинуясь старинной привычке, снял шляпу, однако, вскоре опомнился, надел ее снова, уселся на край скамьи».

## ИНТЕРЛЮДИЯ 1

*Двести лет спустя*

В конце 80-х годов прошлого столетия, в компании нескольких московских литераторов, а также родной жены я оказался на месте своего вымышленного соотечественника. Ну, почти на месте, не в окрестностях Филадельфии, как «русский джентльмен И-н-А-Ч», а в самом городе, да и молитвенный дом, куда нас привели, выглядел повнушительнее того, давнего прямоугольного строения, где его поразила простота и безыскусность не только архитектуры, но и поведения прихожан. А все остальное — как в былые времена: «ни купели, ни алтаря, ни дарохранительницы, ни органа». Ни скамей, ни нефов — полукруглое помещение с уходящим под потолок амфитеатром. И входная дверь простая: пройдешь мимо — не заметишь. Мы с Олегом Чухонцевым тоже потянулось было к головным уборам и тоже, увидев, что все остальные к ним и не прикасаются, остановились на полпути. Входили и выходили неброско одетые люди, садились на свободные места, время от времени поднимались и заговаривали о делах, сколько помнится, не так божественных, как текущих. Все, как описано в книге двухсотлетней давности, разве что речи сделались лаконичнее: та, что воспроизводится в «Письмах», длилась минут сорок, а теперь пять-десять, не больше. После очередного выступления наступило долгое молчание, я отчего-то ощутил некоторую неловкость и, уловив боковым зрением поощряющие взгляды жены, а также Юнны Мориц, которая тогда еще относилась к Америке и американцам вполне благожелательно, — встал с места. Что я тогда нес, решительно не помню, наверняка чушь какую-то. Одно только осело в памяти: ощущение тепла и дружелюбия. Все повернулись в мою сторону, и все, судя по выражению лиц, слушали то, что я говорю, никак не выражая неудовольствия ни содержанием речи (явно, повторяю, пустым), ни иностранным акцентом, ни, главное, наглостью чужака — а то, что я к квакерам не имею ни малейшего отношения, ни для кого секретом наверняка не было, да я и вида не делал.

Вечером мы с женой оказались в гостях у одного симпатичного индуса, давно уже натурализовавшегося в Америке, и он, выслушав рассказ неопита (то был мой первый и последний визит в «Дом друзей»), улыбнулся во все свои тридцать два белоснежных зуба:

— Yes, they are fine, may be only they quake too much<sup>1</sup>.

Бесхитростной этой шутки я не поддержал, тем более что слово quake прозвучало у моего собеседника похоже на quack, и это уже не «трепет» (перед Богом, что имел в виду основатель секты Джордж Нокс), но «кряканье», а уж если кто и крякал или даже квакал в тот день, так это я.

К тому же я немного знал историю тяжких испытаний, выпавших в Америке на долю этих мирных сектантов. В середине XVII века их долго и немилосердно преследовали за веру, изгоняли отовсюду, и стоило им однажды найти временный и ненадежный приют, как со всех сторон зазвучали гневные голоса, требующие расправиться с еретиками. Ответом стало послание, сделавшееся чем-то вроде вехи в становлении американской демократии. Направлено оно было Джону Уинтропу, губернатору Массачусетса — крупнейшей из существовавших на тот момент английских колоний в Америке — и их беспорному духовному авторитету, а подписано Роджером Уильямсом, протестантским священником и основателем первой в Новом Свете баптистской церкви. За проповеди в пользу религиозной терпимости он был приговорен к изгнанию на старую родину, в Англию, но исполнения вердикта избежал, укрывшись на индейских территориях, где его приняли со всем радушием, даже обучили местному наречию и подарили просторный участок земли,

<sup>1</sup> Да, они очень милы, разве что чрезмерно трепещут (англ.).

на котором он основал колонию Род-Айленд. Вот что Уильямс писал своему грозному оппоненту: «Что касается этих (так называемых квакеров), то у нас нет закона, по которому можно карать людей за одно лишь словесное выражение, или умонастроения, или понимание сути деяний и путей Господних».

Кажется, это был первый клич в начинающейся войне теократов и демократов, окончательно разрешившейся лишь сто пятьдесят лет спустя принятием Первой поправки к Конституции США.

Столь драматическая история к юмору явно не располагает, но это так, к слову, речь пока о другом.

Все понятно: в «Доме друзей», или братьев, квакеры и чужого встретят как Друга и Брата, и неважно, кто он и откуда. Зашел — значит уже свой. Так издавна повелось, и не зря Джон Бертрам все время называет русского джентльмена «брат Иван», «друг Иван». Но мне, человеку, смолоду воспитанному в духе если не вражды, то соперничества с Америкой, хотелось в тот момент верить, что национальность моя и гражданство — дело не последнее.

Вымышленный «русский джентльмен И-н А-Ч», путешествуя по Америке, вполне мог оказаться не в Пенсильвании с ее самой крупной в этой стране квакерской общиной, а допустим, в Новой Англии или на Юге, а уж то, что за ним по прошествии многих лет последовал невымышленный русский литератор и вспомнил по случаю давно читанную книгу, и вовсе никакого значения не имеет. А вот диалог между американским фермером и несколько лубочным, что ни говори, «братом Иваном» кажется многозначительным:

«— Полагая, что в нашей молодой провинции, — вежливо говорит хозяин, — есть что-либо достойное внимания, вы делаете ей большой комплимент.

— Я был с лихвою вознагражден за путешествие, — столь же учтиво откликается гость. — Я смотрю на нынешних американцев как на семя будущих народов, которые заполнят собою сей бескрайний континент; русских можно в некоторых отношениях сравнить с вами; мы тоже молодой народ, то есть, я хочу сказать молодой в науках, искусствах и усовершенствованиях. Кто знает, какие революции могут в один прекрасный день породить Россия и Америка; мы, может быть, более близкие соседи, чем сами думаем».

Уж не читал ли Алексис де Токвиль книгу своего соотечественника? — слишком явственно слышна переключка. А что, вполне мог. Первым изданием «Письма американского фермера» вышли в Лондоне в 1782 году, а уже в середине того же десятилетия увидели свет на французском и вскоре завоевали европейскую известность, отозвавшись и в России: отрывок из «Писем» был напечатан в одном из петербургских ежемесячников.

Этот малозаметный факт литературной жизни возвращает нас к сюжету русско-американских отношений с их взлетами и падениями.

Впрочем, оговоримся: «отношения» подразумевают дипломатию, экономику, вооружения, разного рода договоры, протоколы о намерениях, главное же — геополитику, то есть предметы, в которых я либо вообще не разбираюсь, либо знаю слишком мало, чтобы рассуждать без риска показаться пикейным жилетом. Хотя я, мирный обыватель, жалею, что слишком далеко ушли нынешние наши правители от своих давних предшественников у руля государства. Сейчас что ни день гиганты политической думы разьясняют нам с телеэкрана, что война Запада с Россией началась далеко не сегодня, ей, этой войне, уже сотни лет. Может быть. Чего, повторяю, не знаю, о том не говорю, но вот что в состав этого корпоративного Запада Америка как сумма заморских английских колоний не входила, как не входили молодые Соединенные Штаты, может утверждать даже дилетант. Более того — вновь приношу извинения за прописи — самодержавная Россия если и не выступила на стороне американцев в их борьбе с метрополией за независимость, то устами

Екатерины Великой вежливо отклонила просьбу Георга Третьего поддержать Великобританию — ваши, мол, англо-саксонские дела, сами и разбирайтесь. Что побудило генерала Вашингтона в письме маркизу Лафайетту самым высоким образом оценить позицию русского правительства. Положим, у этого правительства наверняка был тут свой интерес, и вряд ли основывался он, как полагал Вашингтон, «на уважении к правам человечества», — и все равно дипломатические маневры приятнее, нежели нынешний язык угроз и демонстрация неуязвимых ракет с ядерными боеголовками.

Ну а у просвещенной публики не было нужды прибегать к разного рода уловкам, и она, в отличие от нынешней (в ее, увы, большинстве), вполне откровенно обнаруживала свои симпатии к только что основавшемуся государству и его славным вождям. В них, этих симпатиях, сходились люди самого разного положения и самых разных убеждений.

События, происходящие за океаном, волнуют душу и воспаляют ум Радищева. Вот как звучит 34-я строфа оды «Вольность», ждавшей, как мы знаем, своей первопубликации чуть не полтора столетия:

Возри на беспредельно поле,  
Где стёрта зверства рать стоит:  
Не скот тут согнан поневоле,  
Не жребий мужество дарит,  
Не гряда правильно стремится,  
Вождём тут воин каждый мнится,  
Кончины славной ищет он,  
О, воин непоколебимый,  
Ты есть и был непобедимый,  
Твой вождь — свобода, Вашингтон.

В этой странной с точки зрения воинского порядка картине (если бы на поле боя каждый повстанец и впрямь числил себя вождем, то таких героев-одиночек хорошо обученная и дисциплинированная английская армия раскидала бы в один день) содержится замечательная психологическая догадка, не раз подтвержденная впоследствии теми, кто видел Америку не с расстояния в тысячи километров, но изнутри. Об этом, однако, дальше, а пока еще несколько строк из радищевской оды.

Ликуешь ты! А мы здесь страждем!..  
Того ж, того ж, и мы все жаждем;  
Пример твой мету обнажил;  
Твоей я славе непричастен —  
Позволь, хоть дух мой неподвластен,  
Чтоб брег твой пепл хотя мой скрыл!

Не скрыл. Да, к сожалению, и далеко не *все* мы жаждем.

Но Радищев есть Радищев — бунтарь, радикал, мечтатель о свободе, видящий свою заветную мечту осуществленной в молодой стране и потому как раз столь бурно ее славящий.

Совсем иное дело — Карамзин: государственник, монархист, консерватор. И вот что пишет он по прочтении «Автобиографии» Бенджамена Франклина — революционера и еще одного в славном ряду отцов-основателей США: «Всякий, читая сию примечания достойную книгу, будет удивляться чудесному сплетению судьбы человеческой. Франклин, который бродил в Филадельфии по улицам в худом кафтане, без денег, без знакомых, не зная ничего, кроме английского языка и бедного типографского ремесла, сей Франклин через несколько лет сделался известен и почтен в двух частях света, смирил гордость Британии, даровал вольность (! — *Н.А.*) почти всей Америке и великими открытиями обогатил науку».

## ИНТЕРЛЮДИЯ 2

## Око за око

Как в очередной раз не заметить перемену времен и нравов: когда-то в России радовались успехам американских наук, сегодня с хищным и злорадным упорством стараются доказать, например, что лунная экспедиция Аполлона-11 — это блеф. Положим, и раньше на официальном уровне радости особой не выражали, ограничились сдержанным поздравлением, а советский посол, приглашенный на мыс Канаверал, присутствием своим историческое событие не почтил, сославшись на занятость иными важными делами; точно так же СССР оказался единственной (за вычетом Китая) крупной страной, где не транслировалась по телевидению высадка американских астронавтов на Луну. Но все же самого факта прилунения никто не отрицал, во всяком случае, с трибуны.

В отличие от посла, я — лицо сугубо частное и представившейся в ходе одной из первых поездок по Америке возможности познакомиться в Вашингтоне с Майклом Коллинзом — тем самым астронавтом, что нарезал круги по лунной орбите, пока Нийл Армстронг и Эдвин Олдрин вышагивали по лунной поверхности, — искренне обрадовался. Для начала поразило то, сколь будничным получилось само это свидание, у нас-то в ту пору жизнь космонавтов — и даже сами их имена (до полета) — была окутана густой пеленой государственной тайны. И хранилась эта тайна неукоснительно. В пору моей студенческой молодости другом нашей семьи сделался и на долгие годы, собственно до смерти отца, затем, двенадцать лет спустя, мамы, а потом и собственной кончины оставался Марк Лазаревич Галлай — знаменитый летчик-испытатель, приобретший по завершении летной карьеры немалую известность и как литератор-документалист. Но то, что он был, помимо всего прочего, инструктором первой шестерки советских космонавтов — Гагарина, Титова и других, — я узнал только после публикации его книги «С человеком на борту». Притом, что, повторяю, отношения были весьма доверительные. Кстати, в этой же, если не ошибаюсь, книге он пересказывает один забавный эпизод, свидетельствующий о том, чего стоят все эти тайны и заговоры. Попав наконец, после многочисленных безуспешных попыток на парижский авиасалон (до того, будучи лицом, имеющим высшую, как тогда говорили, категорию допуска, он проходил по разряду «невывезных»), Марк Лазаревич столкнулся с каким-то своим старинным знакомцем, и тот между прочим поинтересовался: как там Сергей, чем занят? Что речь идет о Сергее Павловиче Королёве, Галлай, естественно, понял тотчас же, но с ответом замешкался, хотя, чем Королёв занят, знал прекрасно. Но ведь Королёва-то тогда, собственно, не было, а был некто, скрывающийся под псевдонимом Главный Конструктор (как, к слову, Келдыш — ни много ни мало президент Академии наук — был для широкой публики не Келдышем, а Теоретиком Космонавтики). По нынешним временам и вообще по здравому смыслу чистая комедия, но таковы уж были советские нравы и психология жизни в социалистическом, осажденном со всех сторон супостатами лагере: враг не дремлет, замаскированные шпионы на каждом шагу. И что поделаешь — приходится играть по правилам. Вот Марк Лазаревич и забормotal смущенно что-то, по собственному признанию, невнятное: мол, потерял я в последнее время Сергея из виду, давно ничего о нем не слышал. Ну тут его собеседник просто рассмеялся: как же так, быть того не может, ведь он у вас главный по ракетам.

Но вернемся в Вашингтон начала 70-х. Помимо всего прочего, Коллинз оказался на редкость симпатичным, компанейским, менее всего чванным человеком, и когда я, совершенно по-дурацки, что быстро стало понятно, полюбопытствовал, страдает ли он



от популярности, Майкл (как он сразу попросил себя называть в ответ на уважительное «мистер Коллинз») изумился: да какая там популярность, что я, киноактер, что ли, профессия как профессия, пусть редкая. Реакция вообще-то естественная, но на домашнем опять-таки фоне, к стыду своему вынужден признаться, она показалась мне слегка наигранной. В родных-то пределах коллеги Майкла Коллинза почитались едва ли не богами, во всяком случае, ходили (и впрямь, как кинозвезды) по алым ковровым дорожкам и поднимались на трибуну мавзолея. Конечно, не сами они этот церемониал придумали, но и по собственным беглым впечатлениям, и еще больше по рассказам людей знающих, например, Ярослава Голованова, прикомандированного «Комсомольской правдой», где он служил в молодости, к отряду космонавтов (и даже засобиравшегося в какой-то момент, по договоренности с Королёвым, на околоземную орбиту, — но потом что-то не сложилось), того же Марка Лазаревича Галлая, убедился, что кое-кого из тех первопроходцев медные трубы славы оглушили — не всех, положим, но многих. В ту же примерно пору, о которой идет речь, то есть в 1972 или 73 году, я оказался в Варне на фестивале советско-болгарской молодежи. Среди его почетных гостей был Павел Попович. Охраняли его, как девицу на выданье, впрочем, это опять-таки не вина его, но беда. Только это тот самый случай, когда одно перетекает в другое, а в результате уменьшается личность. Помнится, было какое-то торжественное застолье, выпивали, закусывали, произносили тосты, а потом заиграла музыка, и к танцевальной площадке двинулся, при всех своих регалиях, полковник Попович. Не пошел, но именно что прошеествовал, всем своим видом показывая, какую честь он оказывает скромно держащейся рядом с ним партнерше. Это был не танец, это было торжественное действие, то ли под фото-, то ли даже под киносъемку. Или, допустим, такая история — рассказанная Галлаем. У него было неукоснительное и вызывающее всяческое уважение правило: коли он пишет о здравствующих людях, показывать им — в той части, в какой оно касается их лично, — написанное. Вот и готовя к изданию уже упомянутую книгу воспоминаний «С человеком на борту» (злключения, что претерпела она в разных коридорах и кабинетах власти, — это своя, весьма поучительная и местами захватывающая история), он послал соответствующие фрагменты рукописи первой женицине-космонавту Валентине Терешковой. В окончательном варианте публикации их не оказалось — и государственная цензура тут ни при чем. Вето наложила сама Валентина Владимировна, которую не устроило как раз то, что под пером автора космонавты вообще, а она в частности, предстают обычными людьми со своими, не всегда симпатичными чертами. Впрочем, даже не так — не то что несимпатичными, но, скажем, не вполне и не только героическими. А Звездный городок под Москвой или Бойконур в Казахстане — не обителью титанов, но просто жилыми домами и местом работы.

При этом Галлай, человек, отнюдь не лишенный чувства юмора и резонно предполагающий наличие того же свойства, хотя бы в зачаточном состоянии, у читателя, мог себе позволить улыбнуться. Но в данном случае он, как выяснилось, промахнулся. Документальный сюжет, вызвавший неудовольствие В.В. Терешковой, выглядел так (наша первая женицине-космонавт жива-здорова, дай ей, как говорится, бог этого здоровья еще на долгие годы вперед, но события, о которых идет речь, остались настолько далеко позади, что, полагаю, их уже вполне можно рассекретить). В ту раннюю пору освоения космоса фотографии участников ближайших по плану полетов рассылались по средствам массовой информации, дабы при сообщении об очередном запуске широкая публика немедленно увидела нового героя. Естественно, это правило коснулось и В.В. Терешковой. Но вот незадача — за несколько дней до запуска (но уже после фотосъемки) ей пришлось в голову перекраситься из блондинки в шатенку, то ли брюнетку. Когда об этом самовольном поступке доложили Королёву, тот пришел в ярость (а пошуметь он, по свидетельству людей, его знавших, того же М.Л. Галлая, любил, и окружающие его побаивались) и

распорядился немедленно обеспечить доставку перекиси водорода. Ну, поскольку просит сам Королёв, то на заводах-производителях решили, что нужен ему не литр-два, а цистерны, каковые и последовали, одна за другой, на Байконур. В результате, заключает свое трагикомическое повествование Марк Лазаревич, сотни советских женщин лишились возможности перекраситься в блондинок. Шутка, однако же, осталась непонятой — герой должен оставаться героем.

Майкл Коллинз же — вновь возвращаюсь к нему — в героя не играл и таковым себя не чувствовал. Полвека почти прошло, а мне все приятно вспомнить об этой случайной встрече. Но сенатор и телеведущий Алексей Пушков, считающийся у нас и, думаю, не без оснований, человеком просвещенным, мою радость омрачил: оказывается, как я понял из одной его (а может, и не одной) передачи, общался я — вместе с другими участниками того давнего разговора в Вашингтоне — просто с жуликом, пусть даже невольным и не одиноким: просто стал он, мол, одним из заложников грандиозной государственной аферы, призванной продемонстрировать миру мнимые достижения Америки. Остается утешаться тем, что аргументы сенатора звучат как-то не очень убедительно, тем более что ничего нового Алексей Пушков не сказал — в своих разоблачениях опирается он (чего, впрочем, не скрывает) на скептиков, чьи голоса зазвучали практически сразу же по завершении полета Аполлона-11. Но тогда они как зазвучали, так постепенно и замолкли, чему немало способствовало интервью, которое в 1984 году дал молодому в ту пору журналисту Павлу Гутионтову известный астрофизик профессор Сурков. Оказывается, сразу по завершении полета Нилы Армстронга и его спутников американцы передали нам доставленные ими образцы лунного грунта, и они полностью совпали с теми, что еще раньше были добыты нашими собственными космическими станциями. Так с чего бы это сейчас вновь затевать эту непристойную возню? Ну как с чего, не бином Ньютона: они нам санкции, а мы им удар по репутации. Око за око.

Вашингтон и Радищев, Карамзин и Франклин — личности исторические. Но и спустившись на землю, легко убедиться во взаимной приязни русских и американцев, каковая, в моем обывательском, напоминаю, представлении, стоит гораздо больше любых договоров.

В 1787 году в Иркутске оказался американский путешественник, некто Джон Ледьярд. Вернувшись домой, он с немалым энтузиазмом описывал поездку по Сибири своему приятелю, секретарю американской миссии в Лондоне: «Как с американцем в России со мной обходились вежливо и уважительно, и в застольях, устроенных двумя губернаторами в мою честь, поднимались тосты за доктора Франклина и генерала Вашингтона; а в Иркутске получило известность и имя Адамса» (вице-президента в правительстве Вашингтона, затем второго президента США. — *Н.А.*)<sup>1</sup>.

Точно так же и русские, глядя на Америку уже не издали, как тот же Радищев, но с близкого расстояния, отзываются о ней с симпатией и дружелюбием.

В 20-е годы позапрошлого века в литературно-художественной среде Санкт-Петербурга немалой известностью пользовался некий Павел Петрович Свиныин. Известность эта, правда, имела скорее скандальный, точнее бы сказать, скандалезный характер, притом что более десяти лет Свиныин был занят весьма почтенным и ответственным делом: издавал и редактировал один из самых заметных литературных журналов того времени — «Отечественные записки». Дело в том, что, обладая

<sup>1</sup> Письмо это, в ходе архивных разысканий, обнаружил академик Н.Н.Болховитинов, автор книги «Россия открывает Америку. 1732—1799» (М.,1991) и крупнейший у нас знаток истории русско-американских отношений; я лишь позволил себе несколько отредактировать перевод.

некоторыми литературными и живописными дарованиями (отмеченными, между прочим, избранием в Академию художеств), этот человек был наделен чрезмерно живой фантазией и склонностью к похвальбе, вполне, впрочем, добродушной, что нередко ставило его в довольно нелепые положения, тем более что при всех своих талантах и энергии, образованностью похвастать он решительно не мог. Неудивительно, что любезный Павел Петрович (а характером он и впрямь обладал незлобивым и в общении был чрезвычайно легок) то и дело становился мишенью различных шаржей и эпиграмм. С особенной охотой потешались на его счет арзамасцы. «Пушкин одинаково, как и все мы, — вспоминает Б.А.Трубецкой, — смеялся над П.П.Свиньным, вообразившим Аккерман местом ссылки Овидия и вопреки географической истории выведившим, что даже название одного близлежащего от Аккермана городка сохранило название Овидиева озера, и на этом основании давал волю свою воображению до самых безудержных границ».

Современники поговаривали даже, что именно он стал прототипом то ли Хлестакова, то ли Ноздрёва.

Впрочем, все это — и фантазии, и насмешки — было пока впереди, а в 1811 году почти никому тогда неизвестный П.П.Свиньин пересек Атлантический океан и стал на два года секретарем российского Генерального консульства в Филадельфии. По прошествии времени он издал американский дневник, включив в него доклады и письма своему непосредственному начальнику — генконсулу Козлову.

Есть в этом дневнике наблюдения интересные и проницательные, есть случайные и поверхностные, но мне сейчас важно отметить две вещи.

Во-первых, при всей неприязни к американскому практицизму, коего проявления он видит повсюду («американцы из всего умеют находить барыш», «нигде степень богатства так не уважается, так не отмечается» и т. д.), в целом Свиньину Америка и ее люди нравятся, нет в его записках ни малейшего намека на то разоблачительство и социальное высокомерие, что войдет в обиход много десятилетий спустя, отравляя атмосферу самых разных, порой замечательных, сочинений, таких как, допустим, американские стихи и публицистика Маяковского, документальный роман Бориса Пильняка «О'Кей» и даже «Одноэтажная Америка» Ильфа и Петрова.

И второе — главное: дипломат-мемуарист улавливает не родственную России республиканскую суть Америки и, кажется, тайно этой сути завидует. И получается, что все же не «деньги есть Бог американцев», а нечто иное.

«На всех домах видны древа вольности».

О чем речь, что за «древа» такие и как они могут расти на стенах домов? История такая: 14 августа 1775 года, в знак протеста против Акта о гербовом сборе, сильно ущемлявшего права колонистов, на старом вязе в центре Бостона было вывешено чучело англичанина — не какого-то там символического карикатурного англичанина, а вполне реального уполномоченного британской короной сборщика налогов. В тот же вечер английские солдаты вяз срубили, но не далее как наутро на том же самом месте выросло другое дерево, вернее, уже не дерево, даже не древо, но символический Шест Вольности — Liberty Pole.

Вскоре, с началом войны за независимость, Шест превратился в подобие флага или герба, и долго еще со стен домов не стирались, напротив, подкрашивались картинки с изображением такого дерева-шеста. Так что трудно не заметить. Наверное, не столь уж сложно уловить, угадать, ощутить и то, что скрыто за этой бесхитростной графикой. Но вот сказать об этом открыто и прямо, сказать в стране, где скоро застучат топоры, сооружающие эшафоты в кронверке Петропавловской крепости, — для этого

требуется мужество. Иные записи из дневников Свиньина звучат так, словно он каким-то чудесным образом сделался участником нынешних теледебатов с их по преимуществу безудержной хулой в адрес Америки. И подозреваю, что при его словах поднялся бы недовольный ропот тщательно подобранной публики. Но все же послушайте, господа, выслушайте без гнева и пристрастия:

«Соединенные американские области представляют пример, небывалый в летописях истории. Вникнув в причины сего явления, всяк будет поражен его величием. Американцы показали себя совершенно достойными наслаждаться теми правами истинной вольности и счастья, которые были первой основою духа их управления, превышающего, по моему мнению, в сем отношении все древние и новые республики».

Но прошествии нескольких десятков лет по Америке ездил еще один наш соотечественник — юрист и историк, автор книги о русской геральдике, не утратившей, говорят, своего научного значения и поныне, Александр Борисович Лакиер. На долгом своем, от Бостона на северо-востоке и до Нового Орлеана на юге, пути он много чего повидал, со многими поговорил, приобщаясь к незнакомой культуре и незнакомому быту, а порой оказываясь, к немалому своему удивлению, на странно образовавшихся русско-американских перекрестках. Направляясь поездом из Балтимора в Цинциннати, он заметил мелькнувшее за окном название местечка, звучащее точь-в-точь как название поселка под Москвой, хотя, естественно, начертанное латинскими буквами: *Gallitzin*. Сосед по купе, католический священник, оказался по удачному стечению обстоятельств здешним уроженцем. Сейчас, заговорил пастор, в селеньице нет ни одного русского, да и прежде их было по пальцам одной руки перечесть, но названо оно, верно, по имени вашего соотечественника, Дмитрия Голицина. Уже потом Лакиер сам восстановил нить событий. Дмитрий — выходец из старинного княжеского рода: сын Дмитрия Алексеевича Голицина, российского посла в Нидерландах, затем во Франции, и дочери прусского фельдмаршала, Амалии фон Шметтау. Родился в 1770 году в Гааге, крещен в православной вере (крестной стала сама Екатерина Вторая), но вслед за матерью, вернувшейся в католичество, уже семнадцати лет от роду перешел в ту же веру, и в 1792 году отправлен был родителями в Америку, в чем, возможно, сыграло некоторую роль то обстоятельство, что посол Голицын серьезно способствовал первоначальному установлению дипломатических отношений России с только что возникшим Союзом североамериканских штатов. Оказавшись за океаном, Голицын-младший закончил католическую семинарию в Балтиморе, после чего стал пастором в поселениях немецких католиков, расположенных по отрогам Аллеган (откуда и воспоследовавшее прозвище — «апостол Аллеган»). Со временем он собственными руками построил деревянную церковь и основал, а затем возглавил католическую общину. От почестей и чинов, как церковных (епископского сана), так и светских (призыва на русскую военную службу в гвардейский полк, к которому Голицын был приписан при рождении), он неизменно отказывался. Так и остался на всю жизнь русский князь американским приходским священником. Впрочем, уже не князь, и дело даже не в том, что после отказа от службы в русской гвардии Голицын был лишен российского гражданства. «Так как, — поясняет Лакиер, — княжеский титул в стране равенства, среди простых работников был вовсе не у места, то миссионер принял так часто встречающееся в Англии и Америке имя Смит и в течение сорока одного года оставался в этих горах». Можно добавить, что через сто шестьдесят пять лет после его кончины была создана епархиальная комиссия

по канонизации блаженного Димитрия (Августина) Голицына. Дело это, как известно, не быстрое, процесс продолжается и поныне.

История занятная, но в общем-то это лишь виньетка на полях внушительного двухтомника «Путешествия по Северо-Американским Штатам, Канаде и острову Куба»; более же всего, не закрывая глаза на темные стороны Града на Холме, прежде всего работорговлю, этот первородный, если можно так сказать, грех Америки, Лакиер, как другие русские, и далеко не только русские, путешественники до и после него, пытается за бытом, за образом жизни, за архитектурным обликом городов, от рафинированного Бостона — этих местных Афин — до неотесанного Чикаго — быстро растущей столицы Среднего Запада, разглядеть и уяснить то, что все это и многое иное объединяет, стирает любые различия.

«Чрез все оттенки... проходит одна общая мысль, их поддерживает одно общее основание — самоуправление и независимое заведование своими собственными делами».

Переписка и материалы к биографии государственного секретаря в правительстве Джефферсона и четвертого американского президента Джеймса Мэдисона никак не могли попасть на глаза Лакиеру — они были изданы лишь в начале XX века. Но одно высказывание одного из главных, как говорят в Америке, архитекторов Конституции, пережившего всех остальных отцов-основателей США, на удивление близко совпадает с впечатлениями русского путешественника. Оно прозвучало еще в 1778 году, всего через два года после провозглашения независимости: «Наша ставка — будущность американской цивилизации, и менее всего она зависит от силы власти. Все наши политические институты мы поставили в зависимость от способности людей к самоуправлению; от способности каждого из нас по отдельности и всех вместе управлять самим собою, контролировать самих себя, вести себя в согласии с десятью Божественными заповедями».

Точно так же никак не мог Лакиер читать дневниковой записи Джона Адамса: «Если стране моей, с Божьего соизволения, потребуется скудное жертвоприношение в виде моей жизни, то она, жертва эта, в судный час будет готова. Но пока я жив, пусть жизнь моя протекает в этой стране и пусть это будет страна свободы!»

А вот пламенный зов, прозвучавший 23 марта 1775 года в зале палаты представителей (House of Burgesses) колонии — тогда еще колонии — Вирджиния из уст Патрика Генри, одного из самых видных и самых красноречивых деятелей американской революции, донестись до него мог — в ту пору, когда Александр Борисович Лакиер путешествовал по США, слова эти уже вошли в народную молву: «Неужели жизнь столь дорога, а мир столь сладостен, чтобы покупать их ценою цепей и рабства? Упаси Бог! Не знаю, какой путь выберут другие, но что касается меня, дайте мне свободу или дайте мне умереть!»

Впрочем, неважно: читал — не читал, слышал — не слышал; в любом случае слова строителей американской республики нашли бы отзвук в душе заезжего русского, и не вчуже прозвучали бы для него эти мысли.

Вот кода всего путешествия и всей книги: «Должны ли американцы ограничиваться одною Америкой или, наоборот, суждено им вернуться в Европу и внести в нее свои учреждения, которые переродились и очистились на новой почве от тех наростов, которые в Европе пристали к ним веками? Молодой, деятельный, практический, счастливый в своих предприятиях народ не видит никакого основания отвечать на этот вопрос отрицательно, и он будет иметь влияние на Европу, но употребит для того не

оружие, не меч и огонь, не гибель и разорение, а распространит свое влияние силою изобретений, торговли, промышленности, и это влияние выше завоеваний».

Примерно в том же роде — и примерно тогда же — высказался еще один наш соотечественник — В.С.Печерин, блестящий молодой профессор Московского университета, пламенный, по собственному признанию, сен-симонист и первый, наверное, в России политический эмигрант, бежавший в 1836 году из николаевской России на Запад с тем, чтобы сделаться там католическим монахом и похоронить себя, по словам Герцена, в иезуитском монастыре. В «Замогильных записках», обнародованных лишь много лет спустя после кончины автора, он замечал: «Наша тесная дружба с Северной Америкою есть одно из знамений времени. Может быть, не в очень далеком будущем свет увидят две исполинские демократии — Россию на Востоке, Америку на Западе: перед ними смолкнет земля».

Двух «исполинских демократий», как известно, не образовалось, по крайней мере пока, да и как — вспоминая Токвиля — строить демократию, используя в качестве инструмента рабство?

С другой стороны, впадает, следом за Токвилем, в романтические иллюзии и Лакиер. Увы, не одними лишь изобретениями и расцветом промышленности «распространяет свое влияние» Америка — меч тоже идет в дело.

Наверное, такие иллюзии можно объяснить — слишком уж привлекательной представляется сама идея свободы, особенно там, где мундиры голубые правят покорным им народом. Настолько привлекательной, что иногда манифестации ее видят там, где скорее надо бы говорить о дурном воспитании.

В 1862 году российского Генерального штаба поручик двадцатипятилетний Павел Иванович Огородников принял участие в деятельности Комитета русских офицеров в Польше, был предан суду военного трибунала и заключен в Модлинскую крепость. Освободившись через два года, он поступил на службу в железнодорожное ведомство, а затем стал путешественником и литератором. Итогом одной из его многочисленных поездок по свету стала опубликованная в 1872 году книга «От Нью-Йорка до Сан-Франциско и обратно в Россию». Десять лет спустя она вышла вторым изданием под новым титулом — «В стране свободы».

Название говорит само за себя, но временами в энтузиазме своем автор явно хватает через край. Вот сценка: в поезд, которым он едет, входит очередной пассажир, из местных, непринужденно садится напротив, закуривает сигару и, ни слова не говоря, берет раскрытую кем-то на середине книгу и начинает ее листать. «Мне это понравилось», — роняет владелец книги, то есть сам же П.И.Огородников.

А вот Достоевскому, прочитавшему его путевой дневник, совершенно не понравилось, он справедливо усмотрел в таком поведении не демократизм и свободу нравов, но обыкновенную бесцеремонность на грани хамства. О чем и написал с раздражением Н.Н.Страхову, а в неотдаленном будущем снова вернулся — прямо ее, естественно, не называя — к книге Огородникова. Как раз в то время, когда она печатались главами в петербургском журнале «Заря», Достоевский писал «Бесов», и вот как там отзывается вагонный эпизод, как, впрочем, и другие сюжеты из путевого дневника, написанного с большой симпатией к Америке.

Шатов рассказывает Хроникеру о своей поездке за океан:

«— Третьего года мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, «чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом *лично* попыткой проверить на себе состояние

человека в самом тяжелом его общественном положении». Вот с такой целью мы отправились.

— Господи! — засмеялся я. — Да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору, «чтоб испытать личным опытом», а то понесло в Америку!

— Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору; всех нас, русских, собралось у него человек шесть — студенты, даже помещики из своих поместий, даже офицеры были, и все с тою же величественной целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали, наконец, я и Кириллов ушли — заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал, вместо тридцати долларов по условию заплатил мне восемь, а ему пятнадцать; тоже и бивали нас там не раз. Ну, тут-то без работы мы и пролежали с Кирилловым в городишке на полу четыре месяца рядом; он об одном думал, а я другом.

— Неужто вас хозяин бил, это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его!

— Ничуть. Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки и нужно родиться в Америке или же по крайней мере сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень. Да что: когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением, мы все хвалили: закон Линча, револьверы, бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что нам это очень нравится...»

Понятно, что этот рассказ больше характеризует не Америку, а «раскаившегося нигилиста» Шатова, но вот еще один фрагмент, уже не художественного, и даже не идеологического, свойства. Он буквально дублирует рассказ Шатова.

В «Дневнике писателя» возникает беглый эскиз к портрету молодого учителя, одушевленного благородными помыслами, но быстро утомившегося, постепенно спивающегося и готового бежать куда глаза глядят, «даже в Америку, чтобы испытать свободный труд в свободном государстве... Там, в Америке, какой-нибудь гнуснейший антрепренер морит его на грубой ручной работе, обсчитывает и даже тузит его кулаками, а он (в точности, как Шатов с Кирилловым, а отчасти и Огородников, которого, правда, никто не тузил, но книгу отняли. — *Н.А.*), за каждым тузом восклицает про себя в изумлении: «Боже, как же эти самые тузы на моей родине ретроградны и как, напротив, они здесь благородны, вкусны и либеральны!»

Между прочим, лет за сорок до Достоевского столь же неприязненно высказалась об американской невоспитанности популярная английская писательница Френсис Троллоп (бабка писателя и вовсе знаменитого — Энтони Троллопа). С откровенной брезгливостью пишет она в «Домашнем быте американцев» о «полном отсутствии (у них) манер за столом, торопливой жадности, с которой пищу хватают и пожирают» и т.д.

Запись из «Дневника писателя» относится к 1873 году, и, в общем, примерно в это время, последнюю треть века, в России наблюдается начало, ну, не похода против Америки, коему свидетелями мы являемся сейчас, но очевидного спада интереса и, пожалуй, перекоса во взгляде на нее. Достоевский-то как раз пример, может, не характерный, что и понятно. Во-первых, гений вообще не может быть характерен, а во-вторых, отгалкивает Достоевского не Америка как таковая, а Америка как некое условное пространство, где бал правит столь нелюбимый им либерализм. Не зря он с такой насмешкой пишет о «свободном труде в свободном государстве». То есть Достоевского отвращает как раз то, что пленяло несколько поколений русских,

начиная со времен Новикова и Радищева. Ну а других этот предмет, кажется, вовсе не занимает — Америка становится и в просвещенном, и в массовом сознании скучным царством голого чистогана.

«Отсутствует духовное содержание» (*И.С.Аксаков*).

Страна «всемогущего доллара, мещанства, правящего и господствующего» (*Д.И.Менделеев*).

«Собственность царит» (*А.К.Толстой*).

Отсюда только один шаг до «Города жёлтого дьявола», «Железного Миргорода», «Моего открытия Америки» (хотя справедливости ради стоит заметить, что в отличие от многих современников, независимо от национальности и идеологических верований, Маяковский банальностей — «страна доллара», «шакалы империализма» — бежит и с редкой пронизательностью видит в отношении американца к доллару не вульгарную страсть к накопительству, а поэзию; но об этом дальше).

Случилась, правда, на смене маршрутов и настроений одна короткая остановка — рассказ, или, скорее, небольшая повесть Короленко «Без языка», где с печальной иронией изображены эмигрантские скитания волынских евреев из местечка Лозищи.

Что погнало их в дальние края — надежда на сытую жизнь? Да нет, им в этом смысле и дома жилось неплохо. Не жировали, конечно, но и не бедствовали.

«Свобода! Это слово частенько-таки повторялось в шинке еврея Шлемы, спокойно слушавшего за своей стойкой. Правду сказать, не всякий из лозищан понимал хорошенько, что оно значит. Но оно как-то хорошо обращалось на языке, и звучало в нем что-то такое, от чего человек будто прибавляется в росте, и что-то будто вспоминалось неясное, но приятное... Что-то такое, о чем как будто знали когда-то в той стороне старые люди, а дети иной раз прикидываются, что тоже знают...»

Но это, кажется, был уже последний, затухающий голос из уходящего в прошлое далека.

*(Окончание в следующем номере)*